

Как известно, *цивилизация и культура* неравнозначны и неравноценны, поскольку первая заявляет о внешних качествах, а вторая — о внутренних. Умалённая во внутренних качествах, цивилизация разрушается, общество становится неполноценным, а человек — безличным. Но и культура вне “вещей” цивилизации являет собой унижительное и жалкое зрелище. Запад, в вещно-ценностной ипостаси достигнув высокого уровня материального бытия, во внутренних сущностях скатывается к нищете отнюдь не в библейском смысле этого слова. Россия, замороченная-таки “вещными” ценностями Запада, в погоне за ними соскользнула со своего исторического пути, в результате чего оказалась на обочине *той цивилизации*, за которой тщетно гналась на протяжении столетий.

Дабы не заблудиться в дебрях “духа”, ограничусь здесь, да простят меня прокураторы цивилизации, теми сущностями, которые составляют основу национальных культур.

Каковы во всём этом перспективы России?

Георгий Свиридов в последние годы жизни писал в своём дневнике: *“В наше время Россия духовно опускается ещё на один порог преисподней”*. Там же с надеждой и требованием: *“Если русской культуре суждено существовать, она должна возвратиться к истоку нравственности и добра”*. И опять: *“Я печально смотрю на будущее, — имея в виду “не русский взгляд на русское”, — борьба с национальной культурой ведётся жестокая...”*.

И в самом деле, недавних истуканов тоталитаризма сменили более вертлявые лживые идола либерального толка, в результате чего в народе подорваны основы, крепящие дух, мораль и нравственность. Стираются традиции, нивелируется своеобразие национальных культур. Стаи “орлов”, переписывающих историю и клеветущих на старую Россию, разбавили “мелкие птицы”, среди которых гордо реют “соколы” демократии — духовные чада певцов “оттепели” Евтушенко и Вознесенского. Вознесшиеся не по таланту и возгордившиеся не по достоинствам. Между тем, демократическая песнь умеренных “буревестников” и “героев”-шестидесятников — нынче голосистых певцов демократии — раздаётся из-под хоругвей, предательски напоминающих прежние кумачи. Ибо сотканы они из тех же евтушенко-рождественских сказаний

о светлых временах, кроющихся под сенью столь же благочестивых “героических будней”. Но песнь “эстрадных поэтов” способна расшевелить лишь неискущённую или падкую на всякий шум и гам публику. Отсюда далёкий от настоящей литературы жаргон жаждущих славы и почестей картонных борцов и громкоголосых песнопевцев “из тех чинов, что дрались из-за блинов”. Русский язык превратился, по словам Свиридова, в “московско-арбатский” жаргон, умело увилывающий от достоинств литературной речи. Но видя “новых Бурлюков”, к которым так и льнут ряженные по-новому “эстрадники”, композитор настаивал на преемственности во зле: “Ошибочно... думать, что Бурлюки исчезли из нашей жизни. Никто не помнит их стихов, но их и создавали не для вечности”.

Последнее замечание многого стоит!

Хилые литераторы, существуя в затхлых от духовного разложения “тусовках”, могли плодить лишь сорную литературу и, конечно же, обречены на забвение, “ибо нет Гения Беспочвенного”. Это утверждает мировое творчество и блистательные произведения самого композитора. Но не мог он (выронивший уже своё мужественное перо...), если не “один, как прежде”, то в малом числе успешно бороться против хорошо налаженной кампании против России — кампании, превращённой в индустрию по обесмысливанию народа.

Последние сто лет непрекращающееся засорение русской культуры “бурлюками” и хамами (без кавычек) происходит потому, что и устно-телевизионное скоморошье творчество, и печать находятся в руках тех же “нянек” и самозванных “представителей культуры народа”, которые воспринимают его бытие “не как нацию, не как народ, — пишет Свиридов, — а как литературу, как искусство, как историю, как государство, — опосредованно, книжно”.

Следует со всей серьёзностью отнестись к мысли великого композитора: “Лозунг “Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с парохода современности” совсем не устарел, как хотят обмануть нас адепты этого лозунга. Он жив, этот лозунг, он руководство к действию и призыв к нему! Если нельзя выбросить Толстого из жизни нашего народа, можно его извратить, оболгать, как это делает, например, литератор Ш<кловский>*. Эти люди ведут себя в России, как в завоёванной стране, распоряжаясь нашими национальными достоянием, как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности!” “Для меня совершенно неважно, — пишет Свиридов, — кто он сам по национальной принадлежности: русский, еврей, папуас или неадерталец. Он враг русской культуры, достояния всех народов мира, он враг всех народов”!

И впрямь, в русскоязычной околелитературе — по форме весьма претенциозной, а по сути беспочвенной — пустот и заковыристых “мыслей” тем больше, чем чаще авторы “мыслят” о русских классиках. Так, в послеоктябрьские времена на “корабле Шкловского” одним из принципиальных его последователей был “корабельный юнга” и чистильщик сапог большевистских “штурманов” литератор Б. М. Эйхенбаум. Остановимся на нём подробнее.

Далёкий от понимания принципов художественного творчества, “палубный интернационалист” по призванию и “текстовик” по предпочтению, претендовал на знатка тех авторов, в творчестве которых особенно плохо разбирался. Поэтому более всего досталось от него Михаилу Лермонтову. Казалось бы, уж на что велик поэт! Ан нет! Если мы вчитаемся в “текстоведение от Эйхенбаума”, то убедимся, что наш герой, пожалуй, повеличавее будет...

Судите сами: грандиозный по замыслу и художественной форме, паразитический по философской глубине и красочности лермонтовский “Демон”, по Эйхенбауму, — лишь “типичная литературная олеография (“калька” с чужих произведений. — **В. С.**)”. Кого бы вы думали? Ныне почти забытых поэтов: Козлова, Подолинского и других, ряд которых, очевидно, сжалившись над Лермонтовым, начётчик наш дополнил великими именами Пушкина и Байрона.

* Свою книгу “Материалы и стиль в романе Льва Толстого” (1928) В. Б. Шкловский сам в последствии назвал “в целом ошибочной”. В других своих работах он более интересен. Хотя и там, едва начав, за цитатами других авторов порой забывает, о чём пишет (см. анализ “Записок из подполья”). Пытаясь вспомнить, продолжает о чём ни попадя, вновь теряя мысль до следующей цитаты из кого-нибудь. В литературных попури (см. “Художественная проза — размышления и разборы”, 1959) Шкловскому нередко изменяет и вкус, и стиль, отчего, сваливая в кучу цитаты из классиков, он в своих мыслях порой “сваливается” туда и сам.

В “Смерти поэта” Эйхенбаум не находит ничего, кроме эмоций: “Стихотворение... действует общей силой эмоциональной выразительности, а не смысловыми “образами”. Образы и речения сами по себе не представляют собой ничего особенно оригинального или нового”... То есть каждый раз выдавай ему эксклюзив, который (так хочется Эйхенбауму) опровергал бы *каждое предыдущее* — “отжившее”, “старое”... классическое... Поправ “Смерть...”, критик, в собственных глазах вырастая до небес, тем более не щадит “Мцыри”. Мощная по духу, величию идеи и накалу творчества, свежести и силы образов поэма “не является новым жанром и не открывает нового пути”... Потому “Мцыри” в бельмах Эйхенбаума есть не столь уж и примечательное “завершение тех опытов эмоционально-монологической поэмы, которые начаты были Лермонтовым ещё в юности”... Мало того, “Лермонтов не создаёт нового материала, а пользуется готовым” (?!), усложняя его “обычными лирическими формами и сентенциями (пуэнтурован)”, гневается критик на поэта, как раз обогатившего литературу новыми формами и техникой стихосложения. Впрочем, иногда литературовед по призыванию в своих опусах нисходит до похвалы великому русскому поэту. Так, полистав один из шедевров мировой прозы — “Тамань”, Эйхенбаум роняет на её счёт скучную “похвалу”: “Лермонтов показал себя здесь мастером малой формы — *недаром в кругу своих товарищей он славился как рассказчик анекдотов*”... Закусив удила, и здесь календарный юбиляр и оценщик “анекдотов” лихо несётся по кочкам своей ограниченности. Ни разу на них не споткнувшись, “крупнейший советский литературовед”*, прищипывая себя перьями, выдаёт новое откровение: “Никто, кажется, из русских поэтов не пародировался так охотно, как Лермонтов, — и это совершенно понятно” (?!).

Что тут скажешь... *Всякий литературоведческий анализ бессмыслен, если он не освящён совестью!*

Храбро “расправившись” с Лермонтовым и попутно вменив в вину анекдотичность стиля ещё и Чехову, “текстовик” наш прибегает к до смешного частому и до неприличия пространному цитированию классиков, хитро представляя им самим выяснять между собой отношения. Почти всегда не к месту и никогда к смыслу, он Львом Толстым и Сенковским проходится по бедному Пушкину, с тем чтобы самого Толстого забить цитатами из Прудона, де-Местра и Бокля. Распустив павлиньи перья из цитат, от которых у читателя рябит в глазах, Эйхенбаум, почистив пёрышки, в Лескова выстреливает мыслями А. Скабичевского и М. Миньшикова. Силком втягивая писателей в свои интрижки, бойкий литератор даже и не пытается взглянуть прилично. Что делать! Не в состоянии проникнуть в глубину текстов, не умея оценить и не особенно ощущая силу и богатство Слова, критик только и может, что цитатами других заполнять пустоты своего мышления. Но художественное Слово существуют независимо от умственных возможностей исследователя. Потому фрагменты эти, вопреки обрезаниям и препарированиям, продолжая содержать в себе яркие мысли и образы, подобно зерновкам без труда перетирают посреднические комментарии критика, жиденькие и никчёмные.

Относительно отсутствия в творчестве поэта “новых путей” и использования им “готовых материалов” скажем, что Эйхенбаум далёк был от творчества как такового, а то бы ведал, что *процесс созидания неразрывно связан со всем предшествующим опытом* — мировым, если художник гений, или региональным, если не является им. Поэтому тем, кто хочет выделиться, ничего не остаётся, кроме как “скакать” зигзагами, совершенствоваться в зауми или блудить со “смыслами”.

И всё же, закрыв глаза на явное злоупотребление чужими текстами, Эйхенбаума можно было бы назвать сносным текстологом, если б он знал, для чего прибегает к самим текстам. Но, упиваясь собой, Эйхенбаум только себя и видит, а потому скатывается в своих опусах к некому суррогату или *литературоведению для себя*. Это, когда, начиная с писателя, продолжаешь **о себе**, драгоценном и эрудированном. Таким образом, того может и не желая, Эйхенбаум стал у истоков “течения”, которое, будем честны, надолго пережило его самого...

* Строка из предисловия к книге: Б. М. Эйхенбаум. “Статьи о Лермонтове”. М. -Л., 1961. С. 3. Все приведённые цитаты взяты мною из книги Эйхенбаума “Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки” (1924). Wilhelm Fink Verlag Munhen. 1967 (издана на русском языке).

Имитируя анализ творчества Достоевского и Толстой, этим же незадолго до Эйхенбаума и Ко грешил другой “писатель о русской литературе” — Лев Шестов, которого Толстой, разглядев в нём бытовое лакейство, с иронией назвал “парикмахером”. Такие оценки, заметим, ничуть не смущали шествующих в Россию “парикмахеров”, ряды которых полнили портные, фармацевты и прочие. Выходцы из малороссийских и бывших польских местечек, как только освоили разговорный русский язык и научились писать “на ём”, отложили в сторону “химию”, ножницы и портняжное шило и, выплюнув изо рта гвоздики, взялись толковать русскую культуру, загружая не особенно понятный им русский язык заглавными сокращениями, жаргоном и прочими “терминами”.

Казалось бы, зачем? К чему поганить язык великого народа, и без того неоднократно оболганного в пристрастных “исследованиях”?

Затем, видимо, что несёт он в себе тот образ, который источает свет души человеческой; хоть и надломанный, но исходящий из *уникального состояния духа и честного сердца*. Переделывая на свой лад русских классиков, именно эту *духовную свечу* норовят погасить поколения “парикмахеров” и эстрадных хохмачей. Не ослабев в желании не мытьём, так катанием избавиться от *не своих* духовных ценностей, хохмачи и циники объединёнными усилиями умело переливают в своих сочинениях из пустого в порожнее, простое представляют сложным, а сложное совершенно непонятным. Таким образом, сорные “филологии” вырождаются в кладбищенские растения, и духом и цветом дурманящие сознание людей.

II

Но только ли в “науке о литературе” дела обстоят столь плачевно?

Увы, не только. Мёртвой хваткой впились в культуру России невзлюбившие её ерофее-войновичи, познерствующие медиа-магнаты и эстрадные “фольклористы на час”. Последних повсеместно сменяют всё новые и новые персонажи “истории и культуры”, в число которых вошли производители серийных монументов.

К примеру, на протяжении многих лет, пользуясь невежеством “городских голов”, в Златоглавой победно шествуют монстры “вечного Зураба”, который, словно издеваясь над обществом, “творит” в наименее знакомой для себя ипостаси, не выдерживая масштаб и не соразмеряясь с пространством. Ан, нет! И с благословения “голов”, “отцов русской демократии” и министров попорченной культуры церетелизация страны продолжается, бездарности резвятся на площадях, а подлинные таланты гниют в подвалах. И не мудрено: веяниям нового времени соответствуют его кумиры. Вдохновляемая лукавыми диссидентами и сутулыми интеллектуалами, именно эта публика охотно рядится в реквизиты романтических страдальцев, “героев” и “гениев”.

Нечто подобное происходит и в поэзии. Выделив из “толпы” поэтов Иосифа Бродского, увидим, что с его талантом может спорить лишь неприязнь его к России — и к той, “которую мы потеряли” и “которая его посадила”, и к неповинной в том исторической России.

Выдающийся поэт Юрий Кузнецов очень точно охарактеризовал утерявшего внутренние стимулы русскоязычного “второго Пушкина”: *“поэзия Бродского — имитация, его надо переводить на русский язык, русское мышление”*.

Но почему? В чём проблема?

В том, что перевести его на русский язык, как и на любой другой, очень даже сложно, ибо не переключается такого рода поэзия *ни с душой народа, ни с культурой его, ни с содержанием*. Книжная душа Бродского способна “переводить” лишь умозрения, да и то сухим языком “технической” поэзии. Не имея тяги к народному, и по-настоящему не предрасположенный к классическому наследию, не понимая своеобразия национальной культуры, Бродский не мог ценить и традиции. При духовной всеядности (то есть бездуховном приятии всякой формы “слова”) автор, или, как в данном случае, “человек вселенной” может существовать лишь в лысом поле псевдокультуры, выраженной здесь в “голом (опять же — *техническом*) тексте” стихотворений.

Отчего же так?

На это даёт ответ сам Бродский, в нобелевской речи не преминувший завить о своём, разрушающем цельность всякого языка, “творческом кредо”.

В соответствии с ним – с “кредо Бродского”, – “не язык – инструмент поэта, а, напротив, поэт есть инструмент языка”. Иначе говоря – не архитектор строит здание, а камни строят архитектора! Очевидно, нобелевский лауреат полагал, что “камни” музы важнее замысла, в его поэзии чаще всего скачущего по поверхностности темы или вовсе отсутствующего.

Итак, проблема обозначена. Что на этот счёт говорят учёные-языковеды?

“Язык является одновременно материалом, орудием и произведением литературного творчества. Из этого следует, что он, во всяком случае, представляет собой нечто большее, чем простой “слой” в литературном произведении”*, – утверждает австрийский учёный Макс Верли, специально оговаривая, что языковедение и литературоведение взаимозависимы, но не идентичны. В. Шкловский – здесь стоит отдать ему, отрекшемуся от “опоязовщины”, должное! – прямо писал о смешении “инструментов языка”: “Многие литературоведческие школы, сближаящие себя с языковедением, считают искусством явлением языка, понимая язык как систему, заменяющую самое действительное”. И далее – с явным неудовольствием: “Мы часто спорим о словах, подставляя слова вместо предметов и пряча в словесных обобщениях те противоречия действительности, которые должны были бы определять существенные качества предмета”.

А вот мысли Шкловского не только по теме, но и по существу языкового творчества:

“Если литература – явление языка, то, значит, мы познаём не мир, а словесные отношения, и сама история человечества – смена разных отношений к словам. Если же мы познаём через литературу действительность, если она – средство для познания её сущности, то, конечно, познание это тоже совершается через сочетание слов, но слова – способ изобразить событие, показать поведение людей”.

Хорошее и очень точное определение!

Далее Шкловский пишет о том, что его почитатель Бродский просто обязан был знать: “Не язык владеет человеком – человек владеет языком, привлекает разные стороны его: иначе разговаривает на улице, иначе – дома, иначе поёт и иначе мечтает”**. Итак, с этим вопросом, вроде бы, ясно. Но возникает следующий.

Только ли живая, а значит – сочувствующая и созидательная – мысль отсутствует у Бродского?

Г. Свиридов даёт весьма точное определение характеру его поэзии.

По неприязни к Отечеству и духовной затхлости относился Бродский к “скорпионам” предшествующей революционно-реформаторской поэзии, композитор живыми и точными штрихами передаёт суть будущего лауреата: “У Бродского нет совсем свежести. Всё залапанное, затроганное чужими руками, коммиссионный магазин. “Качественные”, но ношенные вещи, ношеное бельё, украшения с запахом чужой плоти, чужого тела, чужого пота. Нечистота во всём. Что-то нечистое, уже бывшее в употреблении – всегда! Нет никакой свежести в языке, и это даже не язык, а всегда жаргон – местечковый, околонуачный, подмосковно-дачный”.

И в самом деле: полные прямых или косвенных компиляций, изначально старческие стихи, отдающие болями в пояснице и мигренью в голове автора, говорят ещё и о каком-то общем несварении организма. Поскольку многие из них не обладают внутренней целостностью, за отсутствием серьёзных или выстраданных идей (искусственно придуманные или раздутые до размеров “земного шара” в расчёт не берутся), зачастую их можно завершить любой строчкой из середины, с которой можно и начинать их читать.

О “залапанности” поэзии Бродского Свиридов говорит в связи с общим упадком религиозного сознания, к чему “инструмент языка” непосредственно приложил своё перо. Это позволяет считать стихотворчество “нового Иакова” “идеологическим элементом в борьбе против христианской культуры, которая подлежит уничтожению”. А то, что в тексте Свиридова это жёсткое замечание делается в связи с усиленно пропагандируемой антимузыкой, несколько

* Верли М. Общее литературоведение. М., Издательство “Иностранная литература”. 1957. С. 66.

** Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1959. С. 409–410, 411.

не снижает уместности определения применительно к претензионной и бодливой, но пластически незадачливой поэзии Бродского. Ведь какие формы ни изобретай, как ни разбрасывай слова по “пьяным” строчкам, но поэзия, отвечая поющей или страдающей душе, в недрах своих является всё же музыкой в Слове. И тем не менее, у поэта есть вполне добротные вещи, существующие как бы вне связи с личностью автора. Это — “Элегия” (1968), “Осенний крик ястреба” (1975), “Песчаные холмы, поросшие сосной...” (1978). Пожалуй, ещё “Только пепел знает, что значит сгореть дотла” (1985), “Рождественская звезда” (1987). Можно найти у Бродского и прекрасные афоризмы. Например, “Обычно тот, кто плюёт на Бога, // Плюёт сначала на человека”. В справедливости этого убеждают воспоминания Штерн.

Любопытно, что в юные годы Бродский, имея некоторый опыт стихосложения, более зрело смотрел на вещи. Так, своим “Неотправленным письмом” (1962–1963) как бы участвуя в развернувшихся тогда дискуссиях о реформе правописания русского языка, он писал: “...наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется...” И завершает письмо совершенно справедливым замечанием: “Язык — это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни”. Но вскоре последовавший арест, суд и годовая ссылка на работы в Архангельскую область, видимо, усугубили разложение характера стихотворца. Хотя именно суд (словно в угоду возопившим на весь мир “голосам”, “друзьям” и проч.) нежными женскими руками судьи Е. Савельевой “сделал биографию” Бродскому, сплетя поэту нобелевский венок. Судья же невольно и водрузила его на благородно полысевшую голову лауреата. Если б не “образцово-показательный” суд над “тунеядцем”, то бедный Иосиф, со временем пробившись таки в “толстые журналы”, вряд ли выделялся бы среди талантливых поэтов России. Впрочем, если принять во внимание *memoir* — воспоминания старинной поклонницы поэта Л. Штерн, куда как убедительно характеризующие Бродского того периода, — то в благородное негодование “глупым и нелепым судебным процессом” можно внести серьёзные коррективы.

“Я позвонила Иосифу: приходи завтра на смотрины. Прихорошись, побрейся и прояви геологический энтузиазм. Бродский явился обросший трёхдневной щетиной, в неведомых утыгу парусиновых брюках, — сообщает Штерн.

Итак, Иосиф плюхнулся, не дожидаясь приглашения, в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой “Прима”. “Ваша приятельница утверждает, что вы любите геологию, рвётесь в поле и будете незамеченым работником”, — любезно сказал Иван Егорыч.

“Могу себе представить... — пробормотал Бродский и залился румянцем (в юности он был мучительно застенчив)”, — лучится восхищением Штерн.

“В этом году у нас три экспедиции: Кольский, Зауралье и Магадан. Куда бы вы хотели? — Абсолютно без разницы”, — хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок. “Вот как! А что вам больше нравится — картирование или поиски и разведка полезных ископа... — Один чёрт, — перебил Бродский, — лишь бы вон отсюда!”

“Может, гамма-каратаж?” — не сдавался начальник. “Хоть — гамма, хоть — дельта — не имеет значения”, — парировал Бродский. Богун поджал губы.

“И всё-таки, какая область геологической деятельности вас интересует? — Геологической?” — переспросил Иосиф и хохотнул.

Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся (тем, кто забыл, напомню, что поэт был исключительно застенчив! — В. С.) и заёрзал в кресле (и, очевидно, совестлив. — В. С.).

“Позвольте спросить, — ледяным тоном произнёс Иван Егорыч. — А что-нибудь вас вообще интересует? — Разумеется, — оживился Иосиф. — Ещё как! Больше всего меня интересует проблема духа... как бы объяснить вам попроще (какое, однако, сострадание к безнадёжной простоте не известного миру И. Богуну со стороны не ведомого ещё человечеству гения! — В. С.)... Точнее, сейчас меня занимает метафизическая сущность поэзии...”

После столь невыразимо глубокой мысли тогда ещё не святого Иосифа Богун вежливо, но решительно попросил свидетельницу бессмертного разговора (со стороны Бродского, разумеется) проводить её великого современника к лифту.

Смыслишь от геолога и при этом обхамив (причём даже не заметив этого!) незнакомого человека, Бродский, так ни разу не испытав чудесные возможности увидеть свою страну, предпочёл ей “проблемы духа”, “метафизическая сущность” которого простиралась от койки до библиотеки и обратно. Что касается поэтических исканий, то, не возблагодарив судьбу, а впоследствии сбившись (прошу прощения за каламбур) с большой дороги на мировоззренческую колею, Бродский уверенно выбирается на проторённые другими поэтические тропы, на которых тернии встречались ему всё реже, а бурьяна становилось всё больше (о чём, в частности, говорят откровенно наводящие на ответы вопросы Бродского знаменитому польскому поэту Чеславу Милошу и, в ещё большей степени, многочисленные интервью, которые давал он сам). И в своих переводах Иосиф не очень-то внимателен. Кто-то заметил: “Если вы прочтёте стихотворение “Сатрапы” в переводе Бродского, то увидите, что он вносит в текст лексику Ленинграда, своего поколения, аргю”. Ну, да бог с ними, с переводами. Вживаться в чужой мир дорогого стоит. Обратимся к жанру путевых заметок, тоже, впрочем, влетающих в копеечку.

С изумлением прослеживая в “Путешествии в Стамбул” (1985) размышления Бродского о Восточном (греческом) христианстве и Католичестве и без удовольствия читая рассказ о поездке в Бразилию (“Посвящается позвоночнику”. 1978), не знаешь, чему в них удивляться больше всего: невежеству или цинизму, пока, разобравшись, не приходишь к выводу, что любви к себе отдано там наибольшее предпочтение.

Через все писания красной нитью проходит откровенно потребительский взгляд на мир, разбавленный “вечными” сентенциями о “человеческом стаде, бродящем под сводами Аль-Софии”... Всё это сменяется скукотой не знающего куда себя деть туриста. Отсюда подробное описание “не гнущейся” спинки сидений самолёта и злое брюзжание на местную пыль после посадки. Во всём сквозит больная душа классически гнилого “русского интеллигента”, а потому всё, на что ни обращает своё раздражённое внимание Бродский, говорит, конечно же, о нём самом, попутно свидетельствуя о психически неуравновешенной натуре.

Оттого не удивляешься, что, рассматривая в музее исламские реликвии “и прочие священные тексты” и не умея прочесть их, поэт (а лучше всё же сказать *Бродский*) разом и без всякой нужды умудряется оскорбить и арабский, и русский языки. Как бы отплёвываясь от всего увиденного, он небрежно роняет: “...неволью благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня русского, думал я”. Через страницу – в своих мыслях о Византии – он ещё более конкретен. Обыгрывая турецкие слова “бардак” (стакан) и “дурак” (остановка), Бродский совсем не по-великому острит: “Достаточно, что и христианство, и бардак с дураком пришли к нам из этого места”, то есть... из “византийской Турции”.

Но учитывая, что не был Бродский историком (ну, не был, и всё тут! Хоть и слышал, что турки завоевали Византию *потом*, через пять веков после принятия Русью Православия), не будем очень строги и обратимся к его туристским эмоциям, которые впечатляют не меньше: “Но мечети Стамбула! – никак не уймётся в своей желчности жертва клевет, наговоров, милицейских, судебных и прочих социальных притеснений. – Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от неё оторваться застывшие каменные жабы!”...

Негодую едва ли не на всё, но в Греции решив всё же хоть что-то похвалить и выбрав для этого храм Посейдона, Бродский делает это совершенно замечательным образом: “Он в десять раз меньше Парфенона (!..). Во сколько раз (!) он прекрасней (!), сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства (!..). Крыши у него нет”.

Вот так... Одной только фразой, как будто взятой из тетрадки полкового писаря или сочинения второгодника, Бродский умудряется принизить поразительной красоты Парфенон, посеять сомнения в эстетическом ощущении (“отсчёте”) красоты (то есть, что прекрасней: “Чёрный квадрат” Казимира Малевича, “Сикстинская Мадонна” Рафаэля или “Свинные туши” Хаима Сутина – это ещё надо подумать...) и “добить” храм обывательским замечанием об отсутствии “крыши” (на самом деле – *антаблемента с настилом* и перекрытием под кровлей из черепичных или мраморных пластин). А ведь оголённые человеческим произволом колонны храма свидетельствуют не только об утере “крыши”, но о великих трагедиях древности, беспощадно распинавших

и культуру, и жизни человеческие. Эти изувеченные, но грандиозные останки ушедшей цивилизации напоминают нынешнему человеку о том, что не он только, но и всё сущее преходяще...

Расстроенный от потери “крыши”, Бродский в том же “Посвящении...”, прожив в Рио-де-Жанейро всего неделю, утверждает, что это тот “город, где у вас не может быть воспоминаний, проживи вы в нём всю жизнь”. Отчего же? Да люди там никакуды не годные — “не люди, а какая-то помесь обезьяны и погуя”, “лощёные такие шоколадные твари...” — пишет он о соплеменниках Хорхе Борхеса, Хулио Кортасара, Леопольдо Лугонеса и Адольфо Касареса. Но вот, отвратив свой взор от “шоколадных тварей”, одна из которых, к слову, спёрла у него кошелёк (надо же — дрянь такая!), он и в белых своих коллеггах на конгрессе ПЕН-Клуба в Рио не находит ничего путного: “Занятно было наблюдать всю эту шваль...” — отхаркивается от них “духовно-проблемный” Иосиф и попутно “выдающийся поэт современности”. Как тут не вспомнить сентенцию Цицерона: “Чтобы быть Цезарем, надо иметь душу Цезаря”.

Но отвлечёмся от никак не впечатляющих путевых заметок и обратимся к мыслям Бродского о европейской цивилизации. Судя по контексту записей, не понимая, о чём он, собственно, думает, Бродский пишет: “Может быть, даже, говорил я себе, вся европейская культура, с её соборами, готикой, барокко, рококо, завитками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч., есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда лесу”...*

И здесь реплики Бродского вызывают ощущение духовной неопрятности, “залапанности” и немытости, являя тот род интеллектуального сора, из которого если и растут цветы, то кладбищенские или попросту дурно пахнущие (“Представление”, 1987). Когда читаешь всё это, не покидает ощущение пребывания в непроветренной петербургской коммуналке, донельзя загаженном общественном подъезде с вечно заплёванным полом, раздавленными окурками и тараканами, которые бежать некуда... Всё это говорит о разложении чего-то важного. Впрочем, туристская ипохондрия Бродского, ровно запылённая на страницах юбилейного сборника литературоведческой заушью, скоро становится вполне объяснимой, поскольку в одном месте, видимо, проговорившись, автор называет себя “затравленным психопатом”**.

Как бы там ни было, прозаический опус “Путешествий...” Бродского, став ляпсусом, никогда более не имел продолжения, как, собственно, и сами путешествия (опять ведь спереть могут что-нибудь... гады!). И если Иосиф на ослах от литературы (да простят меня те, кто просто запутался в тенётах поэтической заумы и цинизме в прозе) водружён-таки был на поэтический Олимп, то не без помощи проходимцев от “большой” политики. То был не первый и не последний “политический нобель”***. Уже потому, что в число лауреатов не попали ни А. Куприн, ни Л. Леонов, ни М. Горький (ну, с ним-то понятно), ни А. Ахматова, ни В. Астафьев. И не только им — Льву Толстому, Чехову, Ибсену, Верхарну и Малларме “комитет” не удосужился присудить Нобелевскую премию. А вот Уинстону Черчиллю присудил... Причём, — по литературе (хорошо хоть не за укрепление мира...****). Потому, наверное, что писал лучше всех...

* Все цитаты, включая “Бродский — геолог” Л. Штерна (с. 250–251), взяты из книги, посвящённой 50-летию, цитирую: “выдающегося поэта нашего времени” Иосифа Бродского “Размером подлинника”. Таллин. 1990.

** Бродский знал, что говорил. Журнал “Новый мир” (№ 1, 2007) приводит заключение судебно-психиатрической экспертизы от 11 марта 1964 года: “Бродский проявляет психопатические черты характера”, но “психическим заболеванием не страдает и может отдавать отчёт своим действиям и руководить ими”. В последнем особенно убеждают дневники поэта...

*** Напомню: ежегодная международная Нобелевская премия по физике, химии, физиологии, литературе, а также за деятельность по укреплению мира учреждена Альфредом Бернхардом Нобелем, присуждается с 1901 года.

**** За девять лет до получения премии — 5 августа 1944 года — Черчилль сделал запрос в правительство Великобритании о возможности использования против Германии отравляющего газа. Черчилль, вознамерясь стереть немцев с лица земли, указывал на готовые к применению 32 000 тонн горчичного газа и фосгена, могущие уничтожить всё живое в Германии на площади 965 кв. миль, что превышает города Берлин, Гамбург, Кёльн, Эссен, Франкфурт и Кассель, вместе взятые (см. Albert Speer. “Inside the Third Reich”. P. 413. Примечание ** David Irving, Die Geheimwaffen des Dritten Reiches. Hamburg, 1969). Рядом с этой несостоявшейся акцией бедствия Хиросимы и Нагасаки выглядели бы ничтожными. Даже Гитлер отказывался (ibid. P. 413) применять в военных целях отравляющие средства.

Словом, феномен Бродского интересен, прежде всего, как явление, а не факт поэтического пространства. Именно последнее выявляет подмену истинных ценностей на мнимые, в которых роль древней цифири принимают на себя “части речи” наряду с высосанными из пальца “амбивалентными образами” и прочим. Всё это в основных “частях” своих выморочно, за исключением тех “живых мест”, где проявляется циничное отношение к духовным святыням и самой жизни (“Набросок”, 1972). Ввиду духовной и физической запущенности, муза Бродского становится похожей на до времени расплывшую даму, простиитуирующую сомнительными достоинствами; эдакую гейневскую “богиню Гаммодию”, убранную в плохо стиранное бельё из плохонького комиссионного.

Итак, поэтическое дарование Бродского очевидно, умосплетения прозаика не выдерживают критики, а вот аура гения, упорно навязываемая массовому читателю, вызывает изумление...*

Но лиха беда начало. Благо, не одним Бродским жила литература, просшая густым бурьяном схожих сочинений. Ибо перекосились опоры русской жизни, и “поехала крыша” у целого ряда российских литераторов...

“Эпоха Бродского” встряхнула из реквизитов диссидентства духовно обрезанных ерофеевых и войновичей. Унавозив своими писаниями отечественную литературу, они унавозили почву и для гнилой поросли из разнообразных сорокиных. А чего ещё было ожидать? С воцарением в России “новой культуры” лишённое самосознания общество неизбежно покрывает короста из самозванцев от литературы. Увенчанная премиями, именно такого рода “литература” выстилает дорожку в ад стереотипов.

Беда, однако, в том, что суррогатная культура, метастазами разойдясь по телу страны и наполнив миазмами читательский мир, сумела занять прочные позиции в жизни остальной России. На фоне этого словесно-порнографического “творчества” (между тем, широко представленного и, в соответствии с планами “рынка”, “недурно расходящегося”) “канонический Иосиф” сморщится почти целомудренно.

Если бы только это...

Массовое оглушение дешёвым чтивом достигло такой степени, что наиболее чтимыми в России оказываются “полёты” Гарри Поттера, сладковатые, с горчинкой, истории баснописца Пауло Козэльо и околосрепльёвские сплетни неудавшихся сатрапов и их прихвостней. И всё это происходит в лоне великой отечественной литературы, которая самой сущностью своей призвана оберегать человека от духовной неопрятности, тотального невежества, пошлости и безвкусицы, которая в лице своих гениев свидетельствует о душе и необходимости совести в человеке.

Но и это не всё... Иные “случаи” в “литературном мире”, выходя далеко за пределы и совести и морали, напрямую грозят привести нравственные меры людей к полному нулю, прямо свидетельствуя о том, чего стоит нынешнее российское общество.

Некто Плутцер (очевидно, от слова – плут) или Плущер (уж и не знаю, как объяснить, хотя догадаться можно) издаёт Энциклопедию русского мата в 12 томах (!), в которой одному только известному слову из трёх букв он уделяет весь первый том. Здесь под видом изучения автор смакует падаль своего внутреннего разложения, заполняя миазмами “чёрные дыры” общества, и без того во многом опущенного до плинтуса...

Ясно, что “труд” сей является не просто похабщиной, но пробным шаром духовных дегенератов, мечтающих бытие страны превратить в некую “хреновину” или гноющуюся “дыру”. Очевидно, такую цель преследуют “писатели и философы”, и по сей день ненавидящие чуждый им язык, упорно отыскивающие в нём то, что близко им самим. В этих целях и пытаются они своими духовными миазмами вымазать истинно великое и могучее Слово, язык которого им до сих пор непонятен, а потому вызывает панический страх!

* В сборнике “Назидание. Стихи” (Ленинград. 1990), посвящённом тому же юбилею, в предисловии так прямо и написано: “Творчество Иосифа Бродского относится к высшим достижениям русской и мировой культуры, и оно должно как можно быстрее и шире войти в обиход русского читателя и читателей всех народов нашей страны”.

И всё же главное зло от деятельности нынешних “интеллектуалов”, “энциклопедистов” и “просветителей”, которых в теперешней России развелось немерено, видится мне не в глупости и даже не в наглости их. Куда большее беспокойство вызывает в этом подлом деле число помощников, кои нашлись сначала в лице коллектива издательства, а потом и в *убогих миром покупатель* этой продукции. Ибо, по словам автора, первый том тиражом 10 000 экземпляров “разошёлся довольно скоро”. То есть сочинитель без труда нашёл (и, очевидно, найдёт и в дальнейшем) многие тысячи поклонников и единомышленников, которые так же, как и он, “тащатся” от подобных “народных изречений”.

Казалось бы, достаточно устыдить сочинителя, издателей и какое-то число читающей публики, если б в этом “деле”, как в зеркале, не отразились пороки всего российского общества, к которым следует отнести *реакцию на подобные вещи*. В этом “зеркале” угадываются уродливые отражения как тех, кто издавна ненавидит русскую культуру, а потому настойчиво и не со вчерашнего дня распространяет подобные гадости, так и тех, кто употребляет такие слова и делится с другими этой гадостью. Во всём этом повинно не только отребье и малодушные низы общества, но и “чистенькая” его часть, бездейственно отвращающая благородный лик свой от подобных мерзостей. “Кто из нас не возмущается, когда бесчестят женщину, отчего же мы не возмущаемся, когда бесчестят язык: ведь и он живой, ведь и он целомудренный. Есть преступления против языка, которые никому не прощаются”, – писал Дмитрий Мережковский во времена, когда общество способно было ещё возмущаться бесчинством и когда подобного рода гнев не назывался ещё фашизмом...

Есть ещё и другое...

Если с Плущкером всё более-менее ясно – тот исходит восторгом от... “широты” русского языка, то М. Эпштейн – другой “русский писатель” и тоже “филолог, философ, культуролог, эссеист”, наоборот, сетует на бедность русского языка (потому *настойчиво предлагает внедрять в него английские слова*). “Можно ли сравнивать 750 тысяч слов и 150 тысяч (а если без лексикографических приписок, то всего лишь 40-50!)”, “имея страдание” о языке, сопоставляет Эпштейн английский язык и русский*.

Кстати, это “тот самый” автор, который, будучи в Балтиморе (США), умудрялся влиять на “целый “Континент” (журнал такой), где он когда-то впервые изложил идею (и не оставляет её до сих пор) *интернетской шифровки произведений великих людей*. К примеру, Ф. М. Достоевского он честно и откровенно предлагает... не читать (и в самом деле – зачем?!), “сжав его” в коротенький абзац... Ясно, что “описания сути произведений” Достоевского и исследований о нём (как и обо всех остальных гениях) будут принадлежать авторам подобных идей, в числе “шифровальщиков” которых себя, Эпштейн, очевидно по скромности своей, не упоминает. Ну, не то чтобы он совсем уж устраняет себя от этого, а, как бы это сказать, передоверяет, что ли (я, ей-богу, сам напуган строгостью языковых смыслообразований, поэтому боюсь ошибиться в словоиспользовании), подталкивая к этому других. Кого? Как... кого? Некого, что ли? Тот же Иосиф Бродский некогда нашёл у Достоевского “*всеядную прожорливость языка, которому в один прекрасный день (любил всё же Бродский природу! – В. С.) становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя (язык на себя набрасывается! – В. С. См. “Звезда”. № 10. 2005. с. 220)*”.

А вот ещё: в далёкие уже времена социал-демократ Столлнер шептал на ушко Василию Розанову: “*Достоевский весь вертляв и фальшив. ... И у него всегда так. Лицо являет величайшее смирение, убогость, нищенство, и из-под него лезет на вас сатанинская гордость. (А что, Толстой разве лучше? А Пушкин? А Лермонтов? А Тургенев? А этот, как его, Лесков? А Есенин? Всех бы их!... – В. С.)* Свои сентенции Столлнер закончил изречением, которое могло быть (начитанный Эпштейн, так уж получилось, как-то упустил его) и эпиграфом, и путеводной звездой (пишу без намёков, ей-богу!) всей

* См. “Русский язык в свете творческой филологии”, “Знамя”, № 1, 2006.

деятелиности “шифровальщиков” – мастеров букв, слов и чисел. Вот оно: *“Россия должна выбраться из этого бреда, из этого дурмана, из этой фальши, лукавства и всяческой духовной тьмы...”* (“Мимолётное”, 1915). Как мы знаем, так оно и получилось. Через два года в Россию устремились спасители её и на кораблях, и в запломбированных вагонах, и на верблюдах, и на всех остальных возможных и невозможных видах транспорта. Продолжают помогать России и сейчас – и “оттудова”, и “отсюдова”, и “откудова” угодно. Благо, современные технологии позволяют это делать, не отходя от компьютера и, простите за неуместный каламбур, *не отходя от кассы*. Но не будем отвлекаться от *“творческой филологии”* Эпштейна и языко-едения.

Так вот – и вполне серьёзно! – рассматривается (по первоисточнику назовём её “континентная”) *блокада человеческого гения*, загоняемого “Эпштейнами и Ко” в прокрустово ложе собственных, назовём их *субъективными*, умозрений. А что ещё думать, если в соответствии с задумкой “авторов проекта” за короткое время можно будет прочесть “всего” Достоевского, Толстого, Гомера, Цезаря, Лермонтова, Пушкина, Бальзака, Диккенса и ещё десятков-других гениев. Ну, хорошо, один вечер будешь читать “их”, ну два, ну три... – *а дальше что?*

Как это – что? Разве прецедент-открытие не стоит того, чтобы воспеть Эпштейна, столь хитроумно избавляющего нас от невежества?! Тем более что экономленное время можно использовать на что-нибудь путное, более приятное и естественное, например, выпить или съесть что-нибудь... Да мало ли на что! И тогда воцарится над мировыми знаниями лик Его (Эпштейна) и сонм порхающих круг Него “ангелов” *единокорытников**, выморочных борцов с гениями, апологетов тупости и провозглашателей “знаний” для теле-смотрителей и поедателей за компьютерными играми пицц, чипсов, гамбургеров и проч.

Размышляя обо всём этом и даже где-то завидую столь грандиозным планам Эпштейна, почему-то опять пришёл мне, грешному, на память другой “специалист” по тюремно-лагерному ивриту Плущер. Почему пришёл? Сам не знаю. Потому, наверное, что два “антагониста” (один из которых *одного только мата насчитал больше, чем другой слов в русском языке*) всё же наши бы общий язык через понятные им слова.

И точно – на ловца и зверь бежит!

Занимаясь наукой по компьютеру и разрешаясь при этом “творческой филологией”, Эпштейн сдаёт себя с головой. Найдя рубрику “Русский мат” (которую тоже, наверное, основали “филологи” типа Плущера), исследователь наш оскаливается злорадной репликой: *видимо, русский мат является “главным источником новейших словообразований”* (“Знамя”, № 1, 2006, с. 195). Очевидно, здесь проявляется духовная связь эпштейнов-слово-изучателей, плущеров-слово-распространителей и прочих “писателей”. Удивительно, однако, не это, а то, что они, через задний ход (не подумайте ничего плохого!) пробравшись в русский язык, пролазят и в “игольное ушко” науки... Уж не потому ли, что научились прикидываться верблюдами?

Поневоле приходят на память слова А. Куприна из письма Ф. Батюшкову, как будто бы отвечающие и на поставленные, и на незаданные вопросы: *“... Введь никто, как они (предтечи нынешних “специалистов” по русскому языку. – В. С.), успели внести и вносят в прелестный (гламурный, сказали бы эпштейнианцы. – В. С.) русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных телеграфно-сокращённых нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку социал-демократическую брошюратину. Они внесли припадочность, истеричность и пристрастность в критику и рецензию”*. Далее Куприн чуть не с мольбой обращается к знаковым “филологам”: *“... Идите в генералы, инженеры, учёные, доктора, адвокаты – куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который вы <...> и вывихнули”*.

Да, впечатляющая характеристика дана “писателям и филологам”, как и тому, чем они на самом деле занимаются! Однако не тронули молитвы Ку-

* Они же, в университетах США (насчёт Европы не знаю) занимая на факультетах славистики известные позиции и оберегая их (позиции) от иначе мыслящих, мягко говоря, по-своему преподносят русский язык и литературу. Остаётся только надеяться, что умные и упорные в учёбе студенты сумеют овладеть русским языком настолько, чтобы смочь без посторонней (опять винюся за неловкий каламбур) помощи разобраться в русской культуре.

привна циничных похабощиков русского языка. Не тронут и мои... А потому вернёмся к “культурологии”.

Как же пришёл к своему “числовому” выводу печальник о языке русском г-н Эп-н (здесь и далее, дабы не прослыть – упаси Бог! – юдофобом, буду упоминать его в сокращении)?

А вот как: г-н Эп-н исходит из количества (“прироста”) новых слов. Нелепость этого всякому здравомыслящему человеку очевидна, но мыслит г-н Эп-н по принципу “пилл всё схавает”. Однако не будем нервничать, а рассмотрим всё по порядку.

Если бы “прирост” слов за многие столетия был главным достоинством языка (любого), то стараниями “собирателей слов” каждый следующий век плохо понимал бы предыдущий, а лет эдак через 300 народное тело и вовсе перестало бы понимать *само себя*. Тогда в мировой культуре произошла бы полная неразбериха, которая *напрочь перечеркнула бы все предыдущие достижения человеческого гения!* Ибо не было бы никакой возможности перевести *на новый язык* все эти (назовём их “эпштейновскими”) изменения. Не было бы и смысла. Почему? Да потому, что язык всё время исчезал бы, “появляясь” по-новому, в совершенно иных качествах. Но Бог милостив! Потому на одного г-на Эп-на приходится достаточно честных, порядочных и умных людей. Культурный Апокалипсис не приходит ещё и потому, что язык по своей природе консервативен. Настолько, *насколько консервативное (то есть не совращённое) сознание народа тяготеет к своей сущности*. Сама же она является следствием многосотлетнего формирования *своеобразия мировосприятия*, которое заявляет о себе (или не заявляет) в мировой культуре. Увы, для г-на Эп-на язык народа сродни галантерейным новшествам, которые должны сменяться в соответствии с требованиями сезона или каприза модниц.

Но это ладно. Как можно не сказать о том, что г-н Эп-н попросту *передёргивает существо факта*. Так, утверждая, что в английском языке 750 тысяч слов, он обходит главное: *сколькими словами живёт англоязычное сознание* (в устной ипостаси на три четверти германского происхождения). То есть он не задаётся вопросом: сколько слов *работает*, как в реальности, так и в облюбванной г-ном Эп-ном семантике, филологии и т. д. Что с того, если в копилке 75 монет, а вытрясти из неё можно 2 или 3? Не является секретом ведь, что словарь самых выдающихся писателей редко превышает семнадцать-двадцать тысяч слов. И даже в совокупности всех “разниц” (то есть сложив *арифметическую разницу* самых великих англоязычных писателей за последние три столетия) число “рабочих” слов вряд ли превысит 40-50 тысяч. К примеру, словарь Шекспира (кстати, внёсшего в родной язык около 1700 слов) специалисты признают одним из самых богатых в англоязычной литературе, но он насчитывает “всего лишь” около 24 тысяч слов (столько же у А. Пушкина). Если же самому г-ну Эп-ну предложить перечислить все известные ему слова, то, лихо начав, он наверняка начнёт спотыкаться на первой же сотне...

III

Да, чуть не забыл: откуда г-н Эп-н взял цифру 750 000?..

Самый авторитетный в США Webster’s Dictionary, выпущенный в 1983 году, насчитывает 315 000 главных слов (в 2001 году он переиздаётся с тем же количеством слов). В 1989 году Webster’s New International Dictionary of the English Language, second edition, unabridged (то есть другой Вебстер) насчитал 550 000 главных слов. В 1993 году Random House Dictionary, second edition “укорачивает язык” до 450 000 слов. Последний Webster’s Third New International Dictionary (2005) подтверждает наличие 450 000 главных слов (для справки – в одном из первых словарей в 1864 году было 114 000 слов, в 1890-м – 175 000, а в 1909 году Webster’s Dictionary включал 400 000 слов). Но это всё ветреные американцы, к тому же язык этот “не ихний”. Как же обстоят дела в Англии? Там тоже регулярно считают слова. The Oxford English Dictionary выпускает в 1989 году 20 томов, в котором было 290 500 слов. Но, очевидно заглянув в штатовские словари и придя в ужас от разницы, учёные по новой считают слова и в 2005 году выпускают Oxford English Dictionary в 20-ти томах, в которых уже 301 100 слов. Но досчитать до 750 тысяч им совесть не позволила. Так где же г-н Эп-н выкопал свою “магическую цифру”? По каким “буквам” разгадал и по каким “числам” вычислил её?

Что касается русского языка, то Владимир Даль ещё в позапрошлом веке выпустил Словарь, в котором насчитывается более 200 000 слов. При этом Даль не включил в свой труд уменьшительные и увеличительные формы в качестве самостоятельных лексических единиц, иначе в нём оказалось бы более 600 000 слов*.

Количество слов безусловно говорит о богатстве языка, но до известных пределов. Каких? Их опять же определяет *рабочее состояние языка*, включающее все известные человеку сферы деятельности (при этом обязательно оговаривая разницу “прибавочных” технических и прочих специфических слов, не принадлежащих, собственно, к “языку”, но в иных случаях могущих участвовать в нём). Исходя из этого приходишь к совершенно противоположному г-ну Эп-ну выводу: современный английский язык, разрастаясь, структурно иссыхает именно ввиду обильного привнесения в словарь множества узкофункциональных, технических и прочих лишённых образа, а то и вовсе бессмысленных слов и словообразований, совершенно не нужных в языковой и какой бы то ни было культуре! И если разбухание, — по Эп-ну, “богатство”, — английского будет продолжаться, то он (язык — не Эп-н) разделит участь латинского или, что не многим лучше, будет язык “для жизни” и “для словаря” (для “филологов”, эп-нов, и пр.). Ибо о богатстве языка свидетельствует не количество слов, а их *задействованность в бытии*. Это касается не только языка, но и творчества вообще, на которое, судя по названию статьи, почему-то претендует г-н Эп-н.

Рискуя вызвать ропот “ортодоксальных филологов” и языко-едов, скажу всё же: Рембрандт, Веласкес и Хальс создавали свои шедевры, пользуясь лишь *шестью* (6-ю) цветами! Умело создавая нужные, мастерски пользуясь дополнительными и взаимодополнительными цветами (чуть не сказал — *словами!*), живописцы пользовались великолепным по своему богатству и разнообразию “числом” цвета и оттенков, колористическая тонкость и глубина которых свидетельствует о широкой палитре. Дабы унять гордость нашего (уточню — балтиморского) великого философа, скажу ещё, что “эпштейнизм” опередил самого Эп-на, причём в современной (или, да простится мне моё языковое невежество, *модерновой*) живописи, ибо разноцветье тюбиков, нынче исчисляясь уже сотнями, всё растёт и растёт, а толку с этого — чуть... И ещё: можно ли не замечать псевдонаучность и косноязычие, слабоумие в анализе и на редкость безобразное ощущение русского языка самим г-ном Эп-ном, что весьма странно для философа, филолога, культуролога и ещё чёрт знает кого! Ибо звания, должности и научные степени не имеют значения, если подтверждены лишь кафедрой (-рами), а не реальными знаниями.

Чего стоит один только, простите, перл: “Но если всю почву русского языка залить (!) под этот железобетон (!) (неологизмов. — В. С.), на ней (!...) ничего уже не останется”.

Ну, в самом деле: как можно *сыгучую почву*... *залить под* железобетон? Может, проще железобетон, отбив от арматуры**, размолотив, добавив цемент и разбавив водой, *залить на* почву? Но если даже “залить” то, что не заливается, *под* то, что как будто обладает “литейными” свойствами, то что же будет представлять из себя и как можно увидеть *то*, что “залито”? Впрочем, это нам тяжело. Г-н Эп-н может “заливать” всё, что угодно и подо что угодно. В данном случае “под”, “на” или, скорее всего, *мимо* русского языка...

Как же пришёл г-н Эп-н к жизни такой — энд why?

Ясное дело, не без поддержки выдающихся ушедших в мир иной или живущих ещё гениальных философов, поэтов, культурологов, которых в “евонном” штате, наверное, пруд пруди. Впрочем, в данном случае он приводит образец мысли другого философа и, конечно же, русского писателя.

* После смерти В. Даля Бодуэн де Куртэнэ включил в Словарь (видимо, “для количества”) множество ругательных слов, ввиду чего истинным “далевским” Словарём следует считать репринтные издания 1863 и 1866 (1955 и 1994).

Для сравнения: современный немецкий язык насчитывает около 400 000 слов, шведский — около 300 000. В латинском языке специалисты насчитали 100 000, в древнегреческом — более 100 000, в древнеисландском и в санскрите (литературном языке древней Индии) — более 200 000 слов.

** Железобетон — это монолитное соединение бетона и стальной арматуры, применяемое в строительстве. Конструкция — изделия из такого материала (Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. М., 1999).

“Лев Шестов напрямую связывал идеологическую “диктатуру слова” при большевизме с пережитками магии”, — пишет г-н Эп-н, по всей вероятности, опять (теперь уже с Шестовым) ревнуя “магию” к “числам”. Что же говорит сам Шестов, в котором, к слову, новая власть души не чаяла? “Для них (то есть возлюбивших его большевиков) реальные условия человеческой жизни не существуют, — писал Шестов о своих протезе “оттудова” уже. — Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу”. Но г-ну Эп-ну Иегуды Лейбы Шестова мало, и он опять берёт на подмогу Иосифа Бродского, в послесловии к “Котловану” рассуждавшего об Андрее Платонове (к слову, проект настоящего — “политического” — котлована принадлежит не Платонову, писатель лишь придал ему художественную форму). Здесь ясно видно, что по крутизне Бродский в своих умозрениях явно превосходит Шестова (будем честны — Шварцмана). Судите сами: у Платонова возникает... “возникновение понятий, лишённых какого бы то ни было реального содержания <...> ... Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде *жертвой своего языка*, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость”, — вставляет Бродский в уста Платонова собственные домыслы. И далее: “Мне думается, что поэтому Платонов непереводим и, до известной степени, благо тому языку, на который он переведён быть не может (так и написано: *благо тому языку!*)”, — пишет Бродский, одновременно уничтожая и русский язык, и великого писателя, рядом с которым его самого и различить-то трудно. Так, “нобелевский пигмей” цитируется просто пигмеем, отчего оба они становятся ещё меньше ростом!

Словом, и в отношении Андрея Платонова “полный абзац”...

Впрочем, прокомментирую его.

В нём — в “абзаце” — теперь уже Бродский использовал давненько нарабатанный им приём: когда можно было утаить или незаметно изменить смысл цитируемого, он это делал, не моргнув глазом, а когда это не представлялось возможным, то говорил от своего имени, как в данном случае. И тогда хучь глаза закрывай, хучь нос вороти от сказанного... — тоже, как в данном случае. Не иначе как оба писателя (Эп-н и Бродский), переутомившись за “вычислениями”, спутали русский язык с чем-то ещё... Если жизнь где-то и “выстраивается” по числам и магии, это не значит, что она так же строится и в грамматике. Хотя чем чёрт не шутит. К примеру, Кручёных выворачивал её наизнанку: “Бор а циципи. Рпе сека, зоркотимся!”. Но то было давно. Г-н Эп-н с наслаждением приводит “магические слова” из “Геологов” нынешнего “классика” Вл. Сорокина: “Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление. — Мысль, мысль, мысль, полокурый вотлок”.

Чем не магия, а? Здорово, да? И ведь по-русски написано, не по-аглички! Буквы-то русские... Или вот, из того же Сорокина (рассказ “Заседание завкома”) г-н Эп-н любовно приводит следующий отрывок: “Нашпиго! Наби-во! — заревел милиционер. — Напихо червие! Напихо червие! — закричала Симакова... — Напихо червие, — повторял Старухин. — Напихо...”. Так и хочется подумать вслед за г-ном Эп-ном: *Э-эх, дикари!*...

Если вернуться к “филологии Эп-на”, то как не изумиться его утверждению, что *словоизменение и словообразование* совершенно разные вещи?! Это означает, что с изменением слова г-н Эп-н не чувствует *изменение образа* его, как и образа вообще. Приводя удобные для себя примеры: “сапожок” и “сапожище”, и “сирота” и “сиротинушка”, а не, скажем, “дочь” и “доченька” (чётко разделяющие *наличие* дочери и *отношение* к ней), Эп-н считает эти пары одним словом. Впрочем, и в своём примере “писатель” не видит разницы между *смыслом* и *образом*, между *фактом* отсутствия одного или обоих родителей и *отношением* к сироте (чаще всего, *мягком, лирическом, жалостном*, и т. д. — не буду продолжать, ибо нашему учёному и эти слова могут показаться идентичными, а потому к словарю русского языка не имеющими отношения). Очевидно, внутренне абсолютно чужой русскому языку (который, как и любой язык, не ограничивается одним только “запасом слов”), г-н Эп-н вполне естественно не понимает того, что язык, облечённый народным телом, сопротивляется чуждым ему привнесениям, как бы ни хотели того апологеты трупных языков. Не понимая этого, не ощущает г-н Эп-н и *изменения образов слова*. Впрочем, усилия “языковеда” не пропадают даром, ибо сплошь и рядом натыкаешься на чуждые языку (но не г-ну Эп-ну) словоизменения и словообразования.

Потому, подменив действительное эфемерным и лихо отбросив “приписки”, филолог наш в лучших традициях “парикмахеров” от литературы отсубал русский язык до **40 тысяч**. А почему нет?! Было бы желание. Вот и я мог бы после устного счёта г-ном Эп-ном свести его “запас” к нескольким ста словам. Но делать этого не буду, хотя бы потому, что в его статье с заумным и до смешного эрудированным названием, их (разных слов), наверное, больше. Другое дело – нужно ли было писать все эти “слова”...

Знакомясь с опусами г-на Эп-на, видишь полное непонимание им того, что разрастающийся словарь и пухнувший не по дням, а по часам язык есть *свидетельство его деструктивного разжижения, размывания и ослабления*. И если всё это не происходит с русским языком, то это как раз свидетельствует о силе и языко-родной защите его!

Но не понимает этого г-н Эп-н или, наоборот... – понимает? Впрочем, какая разница...

В свете всего рассмотренного становится очевидным, что г-н Эп-н не только не знает, не чувствует и не любит русский язык, он его ненавидит! И, ненавидя, вредит всеми доступными ему способами. Целенаправленно наносимый им вред русской культуре не вызывает сомнений, поэтому в оценке его псевдонаучных опусов не должно быть ни двойственности, ни толерантности, ни либерально-космополитической “амбивалентности”. Причём духовная мелкость и личная интеллектуальная ущербность Эпштейна не играют здесь большой роли, поскольку его опусы рассчитаны на мало сведущую и духовно неприхотливую публику. Другое дело *направленность* деятельности. В длинном ряду старых и новых “схарий” Эпштейн, по сути своей, по призванию, предназначению и по делам своим, является банальным продолжателем “учения” псевдомудрствующих. Поэтому к нему целиком применимы слова Г. Свиридова, ставившего во главу угла не национальную принадлежность “неопапуасов” и “неадертальцев”, а преследуемые ими цели: *они враги русской культуры и культурного достояния всех народов*.

Впрочем, всем этим опусам не приходится удивляться так же, как и сочинителям их. Уходящая в историю наглость (да простит мне г-н Эп-н это, быть может, не самое удачное словосочетание) чуждых русскому языку писателей вполне узнаваема. В доказательство этого приведу небезызвестный факт, характер которого, при всех “словообразованиях” свидетельствуя о позорной беспомощности “нашего” правительства, узнаётся довольно легко. Судите сами.

После подавления Временным правительством восстания большевиков в июле 1917 года их главарям было предъявлено обвинение в измене, грозившее в военное время смертной казнью. Невзирая на это, Лейба Бронштейн по кличке Троцкий “в Совдепе стучал по трибуне и кричал: “Вы обвиняете большевиков в измене и в восстании?.. Сажают их в тюрьмы?.. Так ведь я же был с ними, я же здесь!.. Почему вы меня не арестуете?”... – Члены Совета депутатов молчали. (Они были противниками восстания, большевики тогда были в меньшинстве)”, – пишет журналист А. И. Дикий*. Вместо того чтобы судить Троцкого, как преступника, Совдеп, очевидно, опешив от “исторической наглости”, замял инцидент.

Возникают “окайнные” вопросы:

Где ещё? В какой истории можно найти прецедент, когда – от имени народа и в качестве русского правительства в самый ответственный момент жизни государства четырьмя “плуцкерами” (Троцким, Иоффе, Караханом и Каменевым-Розенфельдом) заклочён был позорный для страны мир с врагом, который, если бы не разлагающая армию деятельность тысяч “просветителей”, был бы побеждён в том же 1917 году?! “В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделали всякое изумление, всякий возмущённый крик наивным, дурацким”, – писал И. Бунин в “Окайнных днях” о подписавших в Брест-Литовске “похабный мир”. Увы, “жирондисты” не были свергнуты. Обезволенный народ не способен был защитить своё Отечество, да и не понимал уже, где оно... Когда же Сталин взялся вытащить страну из тяжелейшего кризиса и в этих целях стал проводить “чистку в рядах партии”, что, напомним, было перевыполнено холуями

* Цитируется А. Диким по книге Б. В. Никитина “Роковые годы”, Париж. 1937.

системы с невероятной жестокостью... Потомки “пламенных революционеров” до сих пор ему этого не могут простить! Когда же в условиях тотальной блокады России лидер постленинской эпохи сумел создать мощное государство, то и это всё никак не зачтётся ему. Вписан был Сталин в историю (причём “окончательно, бесповоротно и навсегда”!) как чудовище...

Но мы несколько отвлеклись от “литературы”.

Я далёк от мысли сравнить местечковых “энциклопедистов”, которые, конечно же, являются “русскими писателями, философами” и прочая, с негодяем мирового масштаба Троцким, но хочу лишь отметить, что в некоторых случаях история повторяется. Вместе с этим хочу указать и на *неминуемую историческую наказуемость* всякой анемичной власти, которая в России в лице нынешних временщиков подобна узкоголовому страусу.

Как только возникает ситуация, требующая энергичной защиты культуры, так номинальные правители России, более всего боясь принять меры в отстаивании интересов русского народа, зарывают головы в “песок” должностного уюта. Когда же проблемы буквально тычут в глаза “окопным правителям”, то они зарываются глубже или натягивают на глаза свой должностной “колпак”, дабы ничего не видеть. Увы, вместо резкого (вплоть до уголовной наказуемости!) осуждения “энциклопедистов”-русофобов и похабщиков русской культуры, власти предпочитают им телеканалы и СМИ. Поощряя наглость, прямо потворствуют гибельным для страны процессам. Единственное, что заботит нуворишей, ставших политиками, это: “как, если негодяи получат по заслугам, воспримет Россию демократический мир?..” Если анемичная номенклатура, глядя “наверх”, трусливо лепечет: “Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?..” – то чиновная челядь охает: “Как бы чего не вышло!” Между тем, Запад, как дикий, так и не очень, с издёвкой смеивается (и вполне заслуженно!) над аморфной российской властью, жалкой в личной слабости, политическом малодушии и социальной беспомощности.

Чего удивляться мату, если в отечественной прессе “смело” опубликовались ещё недавно низкопробные вирши, которые заканчивались злобными и безумными словами: “Благодарю тебя, Дантес! Благодарю, Мартынов!” (“Московские вести”. 2001, № 3. С. 246).

Дейния ничтожных стихоплетов, того же рода “просветителей”, “геростратов” и прочих необходимо расценивать как *преступления против Общества, Закона и Государства*. То есть они должны быть преданы суду. Только такая реакция может смыть грязь, брошенную в лицо народу. Долг всякой уважающей себя власти состоит в законном (подчеркиваю это!) наказании негодяев, к числу которых следует причислить не только авторов, но и издателей, на глазах у всех совокупно, планомерно и продуманно оскорбляющих Россию и её культуру, при этом по-шакальи вгрызаясь в и без того иссушенные корни нравственных устоев народа!

Кто же виноват? Опять инородцы и опять евреи?

Полагаю, дело не только в них. Больше того, не “они”, а именно *мы* (без кавычек) виноваты во многом из того, что происходит. Обвинять в бедах России одну лишь заезжую братию не только глупо, но и, при боязни глядеть правде в лицо, непродуктивно и исторически опасно. Опасно потому, что, прикрываясь “чужаками”, мы опять не видим *собственных* болезней. В отношении “чужих” нелишне знать, что, наделённые пристрастием к “материи” и за счёт внутреннего обладая внешним мышлением, мифические “граждане мира” с отнюдь не мифическими целями ловчее других подбираются к издаванному облюбованному ими золотому тельцу”. И потом, почему другие державы, тоже находящиеся под игом “тельца”, отнюдь не дышат на ладан (о духовном умерщвлении разговор особый)? Следовательно, надо говорить о *формах вмешательства* в структуру и жизнь чуждого им и по духу, и по сознанию государства. “Пусть наш народ идёт своим путём, – размышляя о России писал Свиридов. – Русские не претендуют на руководящие роли в правительстве государства Израиль”.

Давно прошло время щекочущих нервы удобных формулировок и слов, успокаивающих нечистую совесть. Настала пора чётких и ясных определений, избегая недомолвок и смущений в раскрытии поистине страшного диагноза. Гигант, поражённый тяжёлой болезнью, должен знать её, а не, внимая вре-

менщикам, тайным советникам и явным лицемерам, слышать спасительные для них басни и неумолкающие оптимистические прогнозы. То же касается и главного действующего лица истории – народа.

Разве на пустом месте, по словам Свиридова, “тюремный жаргон стал языком России”? Нет, конечно, не на пустом, а на имевшемся или специально подготовленном для этого. В результате, пишет композитор, русский народ “почти утерял свою национальную особенность и принадлежность. Он превратился в безликую рабскую массу, всегда готовую к послушанию и сохранившую лишь жалкие остатки своего бывшего богатейшего языка для уразумения приказаний, отдаваемых ему его владыками, и матерную брань, которой он выражает отношение ко всему на свете: к своей жизни, своим близким, своим хозяевам, своей судьбе”.

Но не только жаргон царит в русском языке, и не только в устном.

Повсеместно, как тараканы, плодятся письменные извращения великорусского языка, заявляя о себе в “фэнтэзи” (от английского *fantasy*; так в России в *Домах Книги* называется отдел *фантастики*), “гламурах” (от английского *glamorous* – ‘обаятельный, очаровательный’), нелепых транскрипциях и буквальных заимствованиях (например, *нонфикшэн* – *non-fiction* – ‘нехудожественный’) из английского в русский язык, превращая его тем самым в псевдорусский. В златоглавой снуют сотни маршрутных такси, надписанные нелепым словом “Автолайн” (тогда уж надо писать *ауто* от слова *auto* или, не без иронии, *авто-line*, поскольку в русском языке никакого “лая”, кроме собачьего, не существует). Примеров всем этим языковым извращениям не счесть.

Спортивные комментаторы, которых молва кличет “прапорщиками эфира”, загаживают русский язык до безобразия! Но если в эфире и “письменности” разносчиками языковых инфекций является “спортивная братва” и журналистская братия, в первом случае свидетельствуя о малой образованности, а в последнем – подтверждая “древность” своей профессии, то в устной речи языковую заразу вроде “фьючерсов” разносят мещане, имя которым легион! Выпоротая мировой и русской классикой, живущая ото дня ко дню и плюющая на всё, что нельзя съесть и чем попользоваться, эта армия превращает в пустыри духовное наследие России. И то, что “народу” помогают в этом (и немало!) “другие”, ни в коей мере не оправдывает добровольное само-оглупление, хуже чего может быть лишь *коллективное беспамятство по-холопски*. Впрочем, потеря памяти в русском обществе, обвалюно заявившая о себе среди как известных, так и не известных нам “учёных-лингвистов”, имеет давнюю историю. Взять хотя бы прилепившийся к бумаге *кроссворд* (от англ. *Crossword*), вытеснивший красивое и благозвучное слово *крестословица*.

Остановимся на “прилипани” чуть подробнее

В незапамятные времена формирование народов сопровождалось длительным периодом совершенствования средств письменного, бытового и обиходного общения. В этом процессе обмен и заимствование слов было и неизбежно, и необходимо. Когда же становление языков прошло стадию *необходимости*, тогда интенсивность языкового обмена значительно уменьшилась. Единичный “обмен словами” между различными языковыми группами как средство оптимизации общения продолжается и сейчас. Международные культурные и политические диалоги, как и деловые связи, поневоле приводят к отбору приоритетных, обоюдопонятных и приемлемых в контактах слов. Это же касается литературы и обиходного общения. Но следует признать по меньшей мере странную, когда коренные, ясные по слогу, смыслу, многозначные по содержанию и ёмкие по образу русские слова-понятия сменяются громоздкими, режущими ухо и колющими читательский глаз жаргоном (например, *хоспис* – от английского *hospice*, в русском языке имеющего свой куда более богатый по ассоциативному ряду аналог *приют, богадельня*). Разве здесь не налицо *подмена одной системы понятий другой*? Не проще ли тогда взять русско-английский-французский-немецкий-испанский... словарь и, в зависимости от степени малодушия, буквально *вносить в русский язык* тысячи иноземных слов?.. Если уж сдаваться, так сразу, а не втихомолку и похлуйски!

Должно быть ясно: когда *равно значительные* языковые культуры в своих контактах заимствуют друг у друга отдельные слова – это понятно, потому что

естественно. Но когда, *при отмеченной равнозначности*, это происходит главным образом с одной стороны, то со всей очевидностью свидетельствует о психологической слабости, моральной ущербности и духовном поражённости допускающей этот процесс “стороны”, таким образом, превращая общество и самый народ в мировую окраину. Применительно к России это равно свидетельствует как о вторичности самосознания лёгких в “окультуривании” нынешних русских, **так и о том, что они ими не являются...** Ибо для русских по исконной принадлежности к своей истории и культуре такое самоуничижение является казусом или вопиющим исключением.

“Мы русские – какой восторг!” – говорил Александр Суворов – “Меч России”, до мозга костей принадлежа мощному культурно-историческому пласту русской жизни. Это было самоощущение, личная оценка и восхищение народом в ипостаси чудо-богатыря, “булатную” закалённость которого явил сам Суворов. Всего этого лишены нынешние, не помнящие родства *заёмщики чего попало и отовсюду*. Психологически существуя в около-истории и оставаясь чуждыми отечественной жизни, они и обрекают Россию на вторичность. Здесь и нужно искать *неприятель “к самим себе”, “своей” культуре, языку и, наконец, к друг другу...* Здесь же возвращаются адепты глобализации, маскирующиеся под попечителей народа в лице политиков и “специалистов” по языку, обкатывающих свои “открытия” в либеральных СМИ. К примеру, на страницах журнала “Знамя” и “Звезда” (кстати, “Знамя” теперь уже чего?.. Со “Звездой”-то понятно...) сии знатоки языцей, а всего более ересей лингвистики, не устают навязывать обществу то латинскую “буквицу”, то английскую лексику. Всё неймётся ненавистникам русского Слова! Хочется им замордовать или размыть до неузнаваемости великолепие языка Лермонтова и Тургенева!

Конечно, не на всякую глупость следует обращать внимание. Но иная из них, облачаясь в псевдонаучную форму и свивая паршивые гнёзда в редакциях русскоязычных журналов, подчас находит сторонников среди несведущей публики. Делая свои мыслишки “достоинством общественности”, литературные трутни и грантоеды, звеня сребренниками, вносят свою лепту в разрушение *всякой национальной культуры*. Закрывать глаза на такого рода “рупоры гласности” совершенно недопустимо. Ибо всё, что не служит интересам России, работает против неё!

В “непричёсанных” редакторами дневниках Достоевского, статьях и письмах русских классиков разъянён уже характер опасности русской культуре и языку, в частности. Те, кому дороги богатейшие россыпи и нераскрытые ещё залежи удивительно пластичного, многомерного и жизненно ёмкого русского языка, знают, что он является средоточием формируемого многими веками *стиля мышления, склада ума и характера народа*. Это и делает язык исторически заявившей о себе нации уникальным явлением мировой культуры.

Русский язык сродни океану. Верхняя, обиходная его часть подвержена “ветрам перемен”, *но не глубины его*. Так, айсберг являет свою мощь главным образом сокрытой, *глубинной своей частью*, без которой “айсберг слов” будет плоской ледышкой, легко стаивающей под внешним воздействием. Будучи социо-народо- и страно-образующим феноменом, язык не позволяет безнаказанно вычленять себя из души народа и мышления его. Тем более, что он есть инструмент не только мышления, но и чувствования, воображения, ощущения и творчества в целом.

Если волевым путём отсечь современность от консервативного, “отсталого” и “тянущего вниз” прошлого, то тогда неизбежно наступит духовное оупение и моральное разложение носителей языка. Ибо с потерей живых существей (образов) из языка и из души народа уйдут богатейшие пласты сначала письменной, а потом и всей остальной (в масштабе человечества – мировой) культуры: изобразительной, музыкальной и пластической. Язык всякого народа содержит в себе условную сумму духовной и исторической информации о нём, при историко-культурном своеобразии составляющую *общую значимость его языка*. Когда в народе, а значит, и в языке преобладает внутренне обусловленная *значимость*, тогда он, мощно заявив о себе в истории, создаёт великую литературу. Когда же громким “языком” начинает “орать” о себе поверхность, в характере будет преобладать разбросанность и доминировать инертность, при которых достоинства неизбежно оказываются на вторых или вовсе никаких ролях, тогда и литература, соответствуя им и плетясь в хвосте

опущенной культуры, становится вялой и неслышной для себя и, тем более, для других народов. Отсюда важность формирования и отдельных личностей, позитивная сумма которых составляет культурное богатство общества и народа.

Подобно живому организму, язык развивается, приходя в соответствие с формами сознания и неизбежным количественным расширением материального мира. Но, как и в нерукотворном храме, в нём есть святыни, которые необходимо почитать и защищать! Слово хранит в себе таинства, смысловую, образную и художественную сущность которых необходимо оберегать от духовных невежд и псевдореформаторов, добровольных или нанятых могильщиков культур, языков и наречий.

Язык наших себя в мировой культуре народов несёт в себе интереснейшую информацию, содержащую код созданной культуры. Богатые смыслом и образами языки, стоящие у рождения всякой целостной культуры, ждут бережного раскрытия и сохранения себя в самом языке в виде письменного или устного Слова. Но “лингвисты” и “филологи”, как и “парикмахеры” и “фармацевты” от литературы, вне сомнения, знают, что исчезновение языковой сущности повлечёт за собой деградацию сознания человека, общества и народа в целом (не знают они только того, что деградация коснётся и их самих!). Она и будет мезьей языка тому народу, который не ценит, а значит, и не заслуживает его достоинств, художественных образов и смысловых сокровищ. . .

Что касается возможных и неизбежных языковых изменений, то естественнее будет исходить от корней (в данном случае – славянских) слов, что присуще народной этимологии. Тогда, не нарушая сущность языка, изменения и привнесения смогут дать здоровые, плодоносные ростки. В этом процессе могут приживаться и чужие слова, если они органично впишутся в характер и своеобразие русского Слова и речи, без чего русский язык не является национальным.

И в самом деле, сколько поэзии в таком слове, как “проталина”, отражающем проседание субстанции, податливость её, внутреннее неслышное и невидимое сочение воды – талой воды; или в слове “капель”, внутренняя (слоговая) раздельность которого несёт в себе и пластичность, и отрывистость, передающие неспешное падение одной и рождение новой “капли”. Вот и “ручей” даёт представление о малой, ревящейся по камням и неровностям почвы ручной речушке. Подобных прекрасных, образных, живых и навсегда современных слов в русском языке не счесть! Эта же ёмкость языка позволяет ему дружить с новоприёмными словами. Наверное, одним из них может быть предложенная мною эволюента (производное от завитка греческой капители ионического стиля – волюты). Ибо не знаю, как, избегая многословия, передать изменимость в своём развитии духовной, бытийной и смысловой ипостаси в пространственном, “завивающемся” продолжении своём могущей привести к содержанию, противостоящему начальному.

О тектонике языка

Казалось бы, нет нужды доказывать исключительную важность языка в его этической и культуроформирующей ипостаси. И всё же приведу мнения авторитетных этнолингвистов Э. Сепира и его ученика-единомышленника Бенджамина Уорфа, ясно показывающие: язык не просто способ общения – это психический склад народа.

Американский учёный Э. Сепир отмечал важность в человеческом общении, в первую очередь, языковых норм: “Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления, главным образом, благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения”.

Б. Уорф, завоевавший мировую известность своей теорией “лингвистической относительности”, согласно которой открывающаяся человеку картина мира в значительной степени определяется системой языка, на котором он говорит, делал акцент на строительные, культурообразующие особенности языкового материала: “Языки различаются не только тем, как они строят предложения, но и тем, как они делят окружающий мир на элементы, которые являются материалом для построения предложения. Грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза”

(выделено мной. — В. С.). Грамматические и семантические категории языка, согласно Уорфу, служат не только инструментами для передачи мысли говорящего, но формируют его идеи и управляют его мыслительной деятельностью, дисциплинируя, добавлю от себя, поведение человека, стиль его мышления и логику построения фразы.

Оттого в тех же США (и особенно в США!) вас могут не понять, даже если вы построите фразу грамматически правильно и произнесёте её без акцента. Потому что вы свой *стиль мышления* “не выстроили” в соответствии с местной языковой грамматикой. Таким образом, заявляют о себе *связь стиля и логики мышления* с грамматической формой их выражения. Впрочем, помимо понятного несоответствия мыслительных процессов виной тому окажется ещё и ущербное ассоциативное мышление, в ходе культурной эволюции англосаксов уступившее сугубо *рациональному* мировоззрению в ущерб самому миру (о том, почему глупый “на всех языках” не поймёт умного, говорить не будем, — тут явно причины иного рода).

И в самом деле, позвонив в англоязычную страну, вы можете услышать по автоответчику: “Please, leave me a message. I will call you back”, что в буквальном переводе на русский язык означает: “Пожалуйста, оставьте мне сообщение, я позвоню вам обратно”.

В русском языке отмеченные слова опускаются. Они и не пишутся, и не произносятся, *потому что подразумеваются*. В этом проявляется специфически русская экономность мышления, имеющая основу в *стиле жизни и мировосприятии*, отличном от англосаксов. Мировоззренческая разница, будучи базой всякого языка, здесь заявляет о себе в языковой форме.

В по-инженерному строгой и неизменной конструкции английского предложения *подлежащее — сказуемое — дополнение* — заложена архитектурника, выстраивающая дисциплину информативного общения, тогда как носителю русской языковой динамики свойственно *предполагать* (додумывать) то, что не выражено (не высказано) словом. Эта особенность русской (славянской) ментальности — видеть мир в его многосложности и *неоднозначности*, как мы уже говорили, — исходит от культурно-исторически сложившегося мировосприятия. Именно оно, вне всякого сомнения, способствовало созданию великой литературы с её богатством образов, пластичностью и *широтой ассоциативного ряда* в языке. Но *эта же особенность*, ввиду неизбежной нашей “стихийной” склонности *недосказывать и на деле — не завершать*, обусловила отставание в том, что *требует чёткой организации, дисциплины и аккуратности исполнения*. Отсюда нескончаемые беды в экономике, путаница в социальных связях, бытовых и всяких иных отношениях.

К примеру, на вопрос: “Где находится...?” или “Как пройти...?” — вам скорее всего ответят: “Там...” или: “Идите туда...”, указывая направление мимо всяких дорог. В результате вы ещё не раз будете вынуждены задать тот же вопрос. И это при том, что оно-таки, действительно, “там”, но *по некоей прямой*... — “по воздуху”, над котлованом разрытой до подземных ключей улицы (потому что технику некогда завезли “не туда”, то и рыть начали “не там”), через кварталы и невесть откуда появившиеся стройплощадки (которых вчера не было, да и сегодня не должно быть) и т. д. Такого рода трудности будут подстерегать вас *и там, где и желательна, и важна максимальная ясность*. Эта же способность перетолковывать (ввиду той же “шири” и “вековой” *неопределённости*) тему в неведомые и порой неожиданные для другой стороны значения позволяет понимать самые очевидные вещи “и так” — “и эдак”. И даже в такие взаимоисключающие слова, как “да” и “нет”, мы умеем привнести оттенки, нивелирующие их решительную однозначность.

Оно вроде бы и “да”, но вместе с тем и не совсем “да”... Почему? А пёс его знает... Во всяком случае, в “округлости” его иной раз ощущаются “ключие уголки” (понятно, что тоже неочевидного) “нет”, что, наверное, каким-то чудным образом вмещает в себя нашу знаменитую вселенскую ширь, в которой безнадёжно тонет самое мудрое мировоззрение и не может найти для себя опору “железная логика”.

Также и “нет”. Оно, конечно, “нет”, но в то же время не совсем “нет...”, ибо в нём ощущаются “округлости” того же, где-то в уголках сознания затаённого, “...да”. В результате: *ни “да”, ни “нет” (ни то ни сё)*. Но и в этом же поле раз можно нарваться на такое (словно обухом по голове) “**НЕТ**”, что хучь стой, хучь падай! Так же, впрочем, как и от “**ДА!**”, потому что тоже “обухом”...

Словом, и здесь “единство противоположностей”. Есть ещё более плотные, не столько по смыслу, сколько “по эмоциональной окраске” слова, рассмотрение которых может лишь вдохновить известных нам сочинителей.

Кстати, о ясности и точности в значении слов

Английское couple или pair и в переводе и наяву означает *точно* два. В славянском сознании “пара” это тоже “два”, *но может быть три и даже четыре*. . . Поэтому, если вы скажете англичанину, немцу или американцу: “Приходите через *пару дней*”, — они заявятся к вам *точно через два дня*, и вы можете оказаться не готовы к встрече. Если же где-нибудь в русской глубинке спросите у хозяйки *пару яблок* или *пару грибов*, то она не замедлит отсыпать вам полсумки — *от души и бесплатно*.

В данном случае — и в этимологии слова, и в характере человека, — за-являет о себе *щедрость и великодушие*, некогда особенно присущие русско-му народу, но в нынешних реалиях создающие *неясность, непонимание или недоумение* (англичанин, например, спросит *пару фунтов* яблок или грибов и непременно заплатит). Примерно о том же (вот и у меня — “примерно”) пи-сал Уорф. Впрочем, не только об этом.

В соответствии с его теорией, индивиду членят мир на фрагменты, *пред-определяемые структурой их родного языка*. Так, если для обозначения схо-жих объектов в одном языке имеется несколько различных слов, а другой язык обозначает их одним словом, то носитель первого языка должен уметь определить разницу характеристик, тогда как носитель другого языка не обя-зан это делать. Таким образом, Уорф отмечает важную роль родного языка не только в межличностном, но и в межнациональном общении, подразумевая и известные трудности в работе филологов в постижении премудростей лите-ратурного творчества.

Итак, язык, будучи самодостаточным, не является только самостоятель-ной величиной. В своих проявлениях перерастая функции общения и инфор-матики, он приобретает содержание, которым полнится общество, живущее и мечтаи, и благами намерениями, и реальностями бытия. Потому именно духовное здоровье народа *вкуче с его культурно-этическими запросами* опре-деляет “здоровье” языка. Более того, обладая немалой социальной и культур-ной ёмкостью, включающей развитое мировосприятие народа, язык, будучи важнейшей частью культурной и общественной жизни, определяет культурный массив настоящего и будущего страны. Ввиду этого осмелюсь заявить: языко-вые параметры есть самостоятельные начала цивилизационной иденти-фикации. Поэтому для сбережения русского языка от словесной грязи следует отвергать всякое пустое или провокационное “совершенствование” его. Отвер-гать ещё и потому, что отдающие кладбищенским духом сочинения лицедеев от филологии, совершенно свободные от нравственности, *перегружены псев-досмыслом*. Это прирождённые мастера о простом говорить сложно, о сове-стном — с издёвкой и пренебрежением, о духовном — цинично. Именно эти самозванные “благодетели” и самоизбранные опекуны *всякой культуры* явля-ются первыми завистниками и неприятелями великорусского языка. А ведь русская культура тем ценна для остального мира, что, наделённая стремлени-ем к истине, исследует душу человеческую. Для этого она в полной мере обла-дает языковым богатством, пластикой, многозначностью и выразительностью образов, произрастающих в беспокойной душе народа — *истинного носителя языка и запечатлённых в нём образов*. Отсюда важность сохранения языка, ко-торый есть *пользуемая со-творческая ипостась души человеческой, без кото-рой человек и человеком-то не является*.

В том-то всё и дело! Именно здесь зарыта собака. Человек в глобализо-ванной культуре попросту не нужен. Он лишний!

Но кто же нужен?

Да в том-то и дело, что *Никто* — “глобальный ноль”, многомиллионный по-требитель, комфортно существующий вне всякой национальной культуры! Отсюда “желание исказить, окарикатурить человека, лишить его богоподобия и сделать скотоподобным”, — писал Г. Свиридов. Во всём прослеживается “идея *пересотворения человека в недочеловека!* Поэтому, имея в виду “пеку-щихся” о русском языке, следует говорить *не о средствах лицемеров и лже-цов, а о целях*, которые они преследуют. Обращение homo sapiens в биоовощ,

наделённый покупательной способностью, есть одна из них, для чего культура языка сводится к некому “юниверсуму”. Опасность такого “бытия” нарастает с увеличением пустых и безликих, ибо обездушенных, клипов мышления, которые ввиду плоских характеристик легко укладываются во всякой голове. Эти, по факту пересозданные, неисчислимы “хомо сапиенсы” и есть жертвы потерявших или вовсе никогда не имевших совесть фальсификаторов — менеджеров лжи, функционеров “культурной” подлости и насилия над лучшим, что было и всё ещё есть в человеке!

Но беда не только в новоявленных “схариях-интернационалистах” и даже не в числе их, а в том, что ереси их обращаются в теле ослабленного духом общества в раковую опухоль. Как тут не вспомнить Ортега-и-Гассета: “Не страшно захворать — страшно быть самой болезнью. Плохо, когда общество поражено безнравственностью, хуже, когда оно перестало быть обществом”!

Об “Иванах, не помнящих родства” в верхних эшелонах власти можно и должно говорить много. Но и остальным, кто не “там”, должна быть ясна и цена, и мера великой ответственности. Ибо великой страны заслуживает не тот народ, который некогда заявлял о своих выдающихся качествах, а тот, который продолжает заявлять о них в исторической жизни! Могучий народ никогда не размещался в “собачьей конуре” истории. Она попросту не годится для того, кто нуждается в иных культурных и пространственных измерениях. Этим отличается пёс, привязанный к собачьей конуре, от созвездия Пса, принадлежащего звёздным пространствам мировой истории!

США

Николай Коняев появился на страницах “Нашего современника” в начале 90-х годов благодаря Вадиму Валериановичу Кожинскому, отметившему дарование молодого автора, и тогда вышла экстравагантная повесть “Гавдарей”, благодаря которой на много лет писатель из города на Неве стал автором журнала на Москве-реке. Ироничный, остроумный, но в то же время взъедливый историк, нередко своими суждениями вызывавший огонь на себя, Николай Михайлович всегда оставался привлекательным для читателей “Нашего современника”. Он описал жизнь другого Николая Михайловича — Рубцова — так, что до сих пор это жизнеописание остаётся лучшим. Затем последовала череда рассказов религиозной окраски, знаменовавшая собой становление Николая Коняева как православного христианина. В редакции всегда с интересом следили за творчеством Коняева. И вдруг — неожиданное скорбное известие: этого интереснейшего человека не стало. Не достиг и 70-летнего рубежа. По современным понятиям — рано! Мы будем всегда помнить Николая Михайловича и добром вспоминать мгновения общения с ним в стенах нашей редакции.

Коллектив “Нашего современника”